

С. Н. НОСОВ

ПИСЬМА АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

В изучении творческой деятельности Аполлона Александровича Григорьева — поэта и литературного критика, драматурга и переводчика — его личная переписка играет очень значительную роль. Большой интерес представляет она и для изучения славянофильства, к которому Григорьев был весьма близок. Именно в письмах Григорьев как бы раскрывает, расшифровывает смысл весьма сложного и противоречивого здания славянофильской теории, переводя отвлеченные построения славянофилов в простые «человеческие» слова.

В источниковедческом смысле письма Григорьева важны и тем, что в них он зачастую впервые «набрасывал» свои идеи, намечая вехи их дальнейшего развития. И хотя многие письма Григорьева написаны «сгоряча» и далеко не всегда так продуманы и художественны, как, скажем, письма И. С. Аксакова, который относился к своей переписке с друзьями и родными в буквальном смысле слова как к художественному творчеству, они настолько непосредственны, эмоциональны, бесстрашно откровенны, что позволяют исследователю не только проникнуть в «мастерскую мысли» Григорьева, но и заглянуть в ее самые интимные уголки, помогая понять, что же влекло передовую русскую интеллигенцию 40—50-х годов прошлого века к славянофильству, и тем самым прояснить вопрос о психологических истоках «жизненности» славянофильского учения.

Особенно интересны явственно ощутимые в письмах Григорьева с начала 50-х годов напряженные поиски своего творческого «я», своей особой идейно-эстетической и общественно-политической позиции в рамках славянофильского направления в русской общественной мысли XIX в., к которому Григорьев примкнул в 1848—1849 гг., но которое он вскоре (уже в начале 50-х годов) отказался принять «в его целом объеме», настойчиво стремясь изменить и по-новому истолковать многие положения «ортодоксально-славянофильской» доктрины.

Для общей характеристики эпистолярного наследия Григорьева следует прежде всего сказать, что Григорьев никогда не писал «научных трактатов в форме писем», как многие его современники — А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. П. Боткин, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский и другие видные общественные деятели и литераторы той эпохи. Переписка Григорьева почти всегда носила, так сказать, вынужденный характер; его письма — это или предельно откровенный «крик души», вызванный потребностью поделиться с друзьями своими горестями, или просьба о денежной помощи и лишь изредка письма, посвященные литературным

и общественным вопросам. Не случайно наиболее интересные письма Григорьева относятся ко времени, когда он находился вдали от своих литературных друзей и единомышленников: в 1857—1858 гг. — в Италии, в 1862—1863 гг. — в далеком провинциальном Оренбурге.

Если эпистолярное наследие Аполлона Григорьева рассматривать как источник по изучению его взглядов на славянофильство, а именно такая попытка и предпринята в нашей статье, то в переписке Григорьева можно (правда, в известной степени условно) выделить три периода.

Первый — 1845—1849 гг., когда Григорьев, переехав из Москвы в Петербург, довольно много, хотя и в высшей степени несистематически, по обыкновению беспорядочно, писал пространные письма своему «духовному наставнику» М. П. Погодину (о сложных отношениях Григорьева с Погодиным, не прерывавшихся как в 40-е, так и позднее — в 50-е годы, будет сказано далее), а также, хотя и реже, друзьям по Московскому университету — историку С. М. Соловьеву и поэту А. А. Фету.

Второй период — 1857—1858 гг., когда Григорьев, измотанный безденежной жизнью «литературного чернорабочего», был «пристроен» Погодиным учителем шестнадцатилетнего князя Трубецкого и вместе с семьей Трубецких свыше двух лет прожил за границей, преимущественно в Италии. Остро чувствуя на чужбине тоску по Родине и пытаясь хоть как-то восполнить отсутствие рядом людей, близких по духу, мировоззрению и «русской закваске», Григорьев часто пишет задушевные и вместе с тем избыточные интересными общественно-политическими замечаниями и характеристиками письма друзьям и знакомым в России — Е. Н. Эдельсону, А. Н. Майкову, Е. С. Протопоповой, М. П. Погодину.

Третий период активной переписки Григорьева с друзьями и единомышленниками (на этот раз преимущественно с Н. Н. Страховым) относится к 1862—1863 гг., когда Григорьев предпринимает последнюю попытку избавиться от постоянных долгов и начать «оседлую» и «правильную» жизнь семьянина, устроившись преподавателем в кадетском корпусе в «окраинном» Оренбурге.¹

¹ Письма Григорьева дошли до нас, как правило, лишь в составе архивов его корреспондентов. Черновики к письмам Григорьев, по всей видимости, не писал, к тому же собственный архив его не сохранился (возможно, его и вообще не было). Тем не менее дошедшие до нас письма Григорьева в большинстве своем известны. Значительная часть этих писем опубликована еще в 1917 г. Влад. Княжниным в книге «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии» (Пг., 1917). Однако в этом издании имеется ряд неточностей в воспроизведении текста писем, в ряде случаев в них сделаны неоправданные купюры. В последнее время огромная работа по публикации и датировке писем Григорьева была проведена Б. Ф. Егоровым. В результате тщательного изучения подлинников писем Григорьева Б. Ф. Егорову удалось установить все ошибки Княжнина в тексте и датировке писем Григорьева к М. П. По-

В нашей статье при характеристике взглядов Григорьева мы сочли наиболее рациональным придерживаться именно такой хронологической периодизации его писем, учитывая вместе с тем и интересующую нас тематику — проблему славянофильства.

Хочется подчеркнуть, что, рассматривая личную переписку Григорьева, мы постоянно имели в виду замечания П. В. Анненкова, сделанные им в его известных мемуарах и касающиеся роли «печатного» и «непечатного» слова в умственном движении в России 40—50-х годов XIX в. «В печати, на скромном поприще тогдашней публицистики, — писал Анненков, — все... являлось в смягченном виде, высказывалось не так ярко и откровенно. На сцену люди выходили, за очень малыми всем известными исключениями, несколько принаряженные. На страницах журналов лишь отражались „следы домашних бурь“». ² Всесильная цензура тех времен не пропускала в печать ничего сколько-нибудь расходившегося с «видами правительства», навязываясь в качестве «руководящей силы» в литературе и публицистике. Прогрессивная русская мысль существовала тогда в России полулегально, скрываясь под видом личного, интимного, художественного. В таких условиях естественна огромная роль личной, подчас, казалось бы, сугубо «интимной» переписки — во многих случаях единственного средства откровенно высказаться по поводу наболевших общественных вопросов, выразить свои суждения и политические чаяния.

Таково по своему значению и эпистолярное наследие Аполлона Григорьева. Письма Григорьева — сумбурная, подчас противоречивая, но откровенная исповедь, повествующая без каких бы то ни было показных «литературных красот» о его нравственных поисках, идеях и идеалах.

Как исторический источник эпистолярное наследие Григорьева крайне сложно и противоречиво, но в то же время именно оно помогает понять истоки порой парадоксальных противоречий в критических статьях и поэзии Григорьева, подводя исследователя к самому «роднику» его мысли. Письма Григорьева в этом смысле — своего рода идейный «подтекст» славянофильской док-

годину, с 1855 г. составляющих наиболее значительную и едва ли не самую ценную для историка часть его эпистолярного наследия. Б. Ф. Егоров восстановил также и неоправданные пропуски, сделанные Княжниным в этих письмах. Ряд писем Григорьева к Погодину, относящихся к 1855—1863 гг., опубликован Б. Ф. Егоровым впервые (см.: Уч. зап. Тартуского гос. ун-та — вып. 306, 1973; вып. 358, 1975). Егоров опубликовал также и неизданные письма Григорьева к Н. Н. Страхову (там же, вып. 167, 1965). Много сделано Б. Ф. Егоровым и для выяснения отношений Григорьева с А. Н. Майковым, с которым Григорьев одно время (1856—1858 гг.) вел оживленную переписку (там же, вып. 139, 1963). Цитируя письма Григорьева по изданию Княжнина, мы старались всегда учитывать добавления и исправления, внесенные Б. Ф. Егоровым (вся правка Егорова отмечена нами квадратными скобками).

² Анненков П. В. Литературные воспоминания. СПб., 1909, с. 249.

трины. Хочется подчеркнуть и то, что при источниковедческой «препарации» такого источника, как личные письма Григорьева, приходится все время помнить древний афоризм: «Если человек хочет верить, он поверит». В письмах Григорьева доказательства очень часто вторичны по отношению к чувству, т. е., попросту говоря, Григорьев очень многое в славянофильстве принимает на веру, а уже потом пытается аргументировать, объяснять, пропагандировать.

Поэтому о письмах Григорьева, даже если рассматривать их в сравнительно узком тематическом плане (как источник по изучению славянофильства), нельзя говорить, оставляя за пределами исследования саму личность их автора. Ведь буйная, порывистая натура Аполлона Григорьева постоянно напоминает о себе в его письмах, вторгается в них, придавая его эпистолярному наследию неизгладимое никакими общими фразами об «общей сущности» его мировоззрения поистине «григорьевское» своеобразие.

Некогда Д. И. Писарев писал: «Ничто не может быть бесцветнее и неопределеннее общих выражений: обскурант, прогрессист, либерал, консерватор, славянофил, западник; эти выражения нисколько не характеризуют того человека, к которому они прикладываются; они надевают непрошенный мундир на его умственную личность и вместо живого человека, мыслящего и чувствующего по-своему, показывают нам неподвижную вывеску замкнутого круга убеждений. Чем даровитее и замечательнее рассматриваемая личность, тем пошлее кажутся мне общие эпитеты, прилагаемые к ней такими критиками, которые не хотят или не умеют вдуматься в ее личные особенности, проследить ее индивидуальное развитие и, таким образом, вместо голого термина дать оживленную характеристику».³

Возможно, Писарев излишне категоричен. Но тем, кто знаком с современным состоянием изучения творчества Григорьева, с возникающими при этом проблемами, трудно, думается, не согласиться, что подобные «стандартные» общие характеристики особенно неприменимы для оценки его «человеческой личности», без которой невозможно действительно глубокое понимание мировоззрения или, лучше сказать, мироощущения Григорьева. «Это был наш русский, по своей природе, какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве», — писал о Григорьеве Я. П. Полонский.⁴

«Мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил, артист, поэт, редактор, критик, драматург, фельетонист, певец, гитарист, оратор, чистый, честный юноша, запойный пьяница, душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ и непримиримый противник, страстный фанатик убеждения, напоминающий этим

³ Писарев Д. И. Русский Дон Кихот. — Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1894, с. 215.

⁴ Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), ф. 231, ед. хр. 283.

Белинского», — такова яркая характеристика личности Григорьева в первом и пока единственном в советской литературе фундаментальном (мы имеем в виду опубликованные работы⁵) исследовании Б. Ф. Егорова о литературно-критической деятельности Григорьева.⁶ Отмечая, что образ Григорьева мозаично рассыпался на несоизмеримые элементы в глазах многих его современников и потомков, Б. Ф. Егоров в то же время с полным основанием писал: «Из-за противоречивости фигуры оценки возникали самые разнообразные: то Григорьев объявлялся величайшим критиком XIX века, то сваливался в глубокую могилу, где были захоронены представители „чистого искусства“».⁷

Как ни парадоксально, но слова Е. Соловьева-Андреевича, что «Григорьев так и остался непонятым своими современни-

⁵ В последнее время был, правда, подготовлен ряд специальных литературоведческих диссертаций об Аполлоне Григорьеве. См.: Марчик А. П. Литературно-критические взгляды Аполлона Григорьева. — Автореф. канд. дисс., М., 1967; Азизов Д. Л. Романтизм в философско-эстетической концепции Ап. Григорьева. Автореф. канд. дисс., Калинин, 1973; Куджаев М. К. Проблема идеала в эстетике Аполлона Григорьева. Автореф. канд. дисс., Баку, 1975; Забозлаева Т. Б. Театральная критика Ап. Григорьева. Автореф. канд. дисс., Л., 1975; Кудасова В. В. Лирическое творчество Аполлона Григорьева и поэзия Александра Блока. Автореф. канд. дисс., Л., 1977; Глебов В. Д. Вопросы реализма в историко-литературной концепции Аполлона Григорьева. Автореф. канд. дисс., Л., 1978. Очень интересна и обстоятельная вступительная статья А. И. Журавлевой к книге «Аполлон Григорьев. Эстетика и критика» (М., 1980).

⁶ Основные разделы этого труда были опубликованы в 1960—1961 гг. в «Ученых записках Тартуского университета»: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик (Уч. зап. ТГУ, вып. 98, 1960; вып. 104, 1961). Из других историко-литературных исследований об Аполлоне Григорьеве, появившихся в советское время, следует назвать прежде всего помещенную в послесловии к книге «Аполлон Григорьев. Воспоминания» (Academia, М.—Л., 1930) статью Иванова-Разумника «Аполлон Григорьев», далеко выходящую по своему значению за рамки отведенного ей скромного места биографического очерка о Григорьеве. Заслуживают внимания и работы об Ап. Григорьеве У. А. Гуральника, носящие, правда, преимущественно обзорный характер: глава «Аполлон Григорьев — критик» в первом томе «Истории русской критики» (М.—Л., 1958) и статья «Литературно-критическое наследие Аполлона Григорьева» во втором номере «Вопросов литературы» за 1964 г. Назовем и некоторые работы, посвященные более специальным сюжетам: статьи Е. Ф. Мейеровича «Аполлон Григорьев — критик Островского» (Театр, 1940, № 10) и М. Зельдовича «Николай Чернышевский и Аполлон Григорьев» (Из творческой истории «Очерков гоголевского периода русской литературы») (Философские науки, 1961, № 3).

Из исследований об Аполлоне Григорьеве, опубликованных за рубежом, можно назвать, пожалуй, лишь введение к американскому изданию «Ап. Григорьев. Сочинения. I. Критика» (Villanova university press, 1970), написанное В. Круичем, а также его примечания к этой публикации. Заслуживает внимания и докторская диссертация Р. Виттекепа «Apollon A. Grigorev and the Evolution of „Organic Criticism“» (Indiana University, Ph. D. 1970), оставшаяся неопубликованной. — Возможностью ознакомиться с этим исследованием автор данной статьи обязан Б. Ф. Егорову, любезно предоставившему нам ее фототипический экземпляр.

⁷ Уч. зап. ТГУ, вып. 98, с. 194.

ками, недостаточно еще оцененный потомками, хотя имя его и растёт постепенно»,⁸ справедливы и по сей день.

Аполлон Григорьев — действительно крайне противоречивая и сложная фигура в истории русской мысли XIX в., но тем не менее связь Григорьева с определенными идейными направлениями своей эпохи прослеживается достаточно явственно. Григорьев вместе с перенявшим многие его идеи Ф. М. Достоевским был основателем «почвенничества» — весьма самобытного направления в русской общественной мысли и литературе, возникшего на рубеже 60-х годов XIX в. в русле славянофильской мысли. И хотя многие идеи Григорьева выходят за рамки «почвеннической» доктрины, связь между литературно-критической деятельностью Григорьева и зарождением «почвенничества» нельзя не учитывать.⁹

Мировоззрение Григорьева, весь его облик как мыслителя, поэта и критика сложны, не лишены противоречий и уже поэтому могут быть истолкованы и поняты по-разному. Но тем не менее не одна лишь «роковая» противоречивость личности и взглядов Григорьева «виновата» в том, что его образ и до сих пор рассыпается на несоизмеримые, плохо связанные между собой элементы в глазах многих его исследователей. Из того, что взгляды Аполлона Григорьева не умецаются в традиционную схему, заключающуюся, с одной стороны, в строгом разграничении сторонников «чистого искусства» и защитников «натуральной школы», с другой — в сведении всех принципиальных разногласий в русской литературной критике середины прошлого века к борьбе между этими направлениями, еще не следует, что мировоззрение Григорьева, стоящего в русской литературе того периода явно особняком, не имело своего собственного идейного стержня. Неудачи, подчас постигающие исследователей при общей характеристике творчества и взглядов Григорьева, происходят в большинстве случаев от нежелания допустить самую возможность существования какой-либо третьей (помимо указанных выше) точки зрения, как будто Аполлон Григорьев, полемизировавший с позиций своей теории «органической критики» со сторонниками Чернышевского и Добролюбова, точно так же

⁸ Соловьев-Андреевич Е. Очерки по истории русской литературы XIX века. СПб., 1902, с. 271.

⁹ Что касается вопроса об отношении «почвенничества» к славянофильству, то в последнее время он неоднократно дискутировался, единого мнения или даже общей платформы в подходе к этим сложным общественно-литературным явлениям еще не выработано. См.: Гуральник У. А. Достоевский, славянофилы и «почвенничество». — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972; Андреев И. И. К оценке философско-исторической концепции почвенничества. — В кн.: Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. М., 1972; Основат А. Л. 1) К изучению почвенничества (Достоевский и Ап. Григорьев). — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, т. 3. Л., 1978; 2) Заметки о почвенничестве. — Там же, т. 4. Л., 1980.

как и с поборниками «чистого искусства», если и существовал, то только лишь для обозначения всего «промежуточного» и «шатающегося» между «чистым искусством» и «натуральной школой». С таким «служебным» положением, отведенным Григорьеву в схеме развития русской критики в 50—60-е годы XIX в., едва ли можно согласиться. Аполлон Григорьев — слишком яркая и значительная фигура в русской критике, поэзии и общественной мысли, чтобы подойти для такой роли. Естественно, что она выглядит навязанной. Затруднения, неизменно возникающие при попытках такой традиционной «классификации» взглядов Аполлона Григорьева, лишь еще раз свидетельствуют о справедливости слов Писарева: «Чем даровитее и замечательнее рассматриваемая личность, тем пошлее мне кажутся общие эпитеты, прилагаемые к ней».¹⁰

В предисловии к вышедшему в 1978 г. новому изданию стихотворений и поэм Аполлона Григорьева Б. Ф. Егоров справедливо заметил: «Надо сказать, что человеческая личность Григорьева еще глубже и сложнее его поэзии».¹¹ Это с еще большей обоснованностью может быть отнесено к критике Аполлона Григорьева, в которой он — в жизни человек, непрерывно метавшийся в поисках «правды», — пытается представить себя ее счастливым обладателем и проповедником.

Личность Аполлона Григорьева, его сложные и напряженные духовные искания, сомнения, разочарования и надежды, пожалуй, нигде не отразились так ярко и правдиво, как в его письмах. Одна из центральных тем писем Григорьева, равно как и самих его идейных исканий, — отношение к ортодоксальному славянофильству. Именно в письмах его «взгляд» на славянофилов «старшего поколения» выразился в развитии, наиболее непосредственно и вместе с тем искренне, ярко свидетельствуя о близости и в то же время о серьезных расхождениях в мировоззрении Григорьева и славянофилов. В письмах Григорьев не умел позировать, воспевать исключительность своих «гордых страданий», доказывать безусловную «истинность» новых «православно-русских» начал общежития в противоположность уже отжившим свой век «началам Запада», как это иногда случалось в его поэзии и литературной критике. Конечно, в письмах Григорьева, часто написанных под влиянием непосредственных впечатлений, событий, чувств и обычно представляющих скорее наброски мыслей, чем достаточно продуманное (в смысловом отношении) цельное повествование, многое негладко, запутанно, случайно, но в самой этой постоянной разбросанности идей есть своя закономерность, в известном смысле даже преимущество. Взгляды Григорьева изменялись, его мировоззрение было настолько тесно и тонко связано с эмоциональной стороной его

¹⁰ Писарев Д. И. Русский Дон Кихот, с. 215.

¹¹ Григорьев А. Стихотворения и поэмы. М., 1978, с. 5.

личности, что редко выражалось Григорьевым «теми же словами», как будто «пульсируя» и никогда так и не устанавливаясь в полной мере. Но в самой этой изменчивости взглядов Григорьева — его верность самому себе, его постоянство, его способность чутко реагировать на жизнь. Пожалуй, никто не сказал об этом лучше, чем сам Григорьев во вступлении к прекрасным, но, к сожалению, неоконченным воспоминаниям — «Мои литературные и нравственные скитальчества» (написаны в 1862—1864 гг.): «Юность, настоящая юность, началась для меня поздно... — Голова работает как паровая машина, скачет во всю прыть к оврагам и безднам, а сердце живет только мечтательною книжною напускною жизнью... На входном пороге этой эпохи написано: „Московский университет после преобразования 1836 года“ — университет Редкина, Крылова, Морошкина, Крюкова, университет таинственного гегелизма с тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо вперед силой — университет Грановского...

Волею судеб, или лучше сказать, неодолимою жаждою жизни, я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная петербургская литература...

И затем опять Москва. Мечтательная жизнь кончена. Начинается настоящая молодость, с жаждой настоящей жизни, с тяжелыми уроками и опытами... Все „народное“, даже местное, что окружало мое воспитание, все, что я на время успел заглушить в себе... поднимается в душе с неожиданною силою и растет, растет до фанатической исключительной веры, до нетерпимости, до пропаганды...

И опять перелом.

Западная жизнь воочию разворачивается передо мною чудесами своего великого прошедшего, и вновь дразнит, поднимает, увлекает. Но не сломилась в этом живом столкновении вера в свое, в народное. Смягчала она только фанатизм веры».¹²

Эти строки могут служить блестящим «вступлением» в изучение личности и взглядов Григорьева. Не зная человека, трудно судить о смысле написанного им действительно глубоко, тем более если связь между личностью и идеями автора сложна и многогранна, а именно таково соотношение «личного» и «общественного» в идейном наследии Аполлона Григорьева. Это, как нам думается, может быть оправданием столь пространной выдержки из воспоминаний Григорьева, явившейся неизбежным отступлением и вместе с тем вступлением к главной теме нашего очерка — Григорьев о славянофильстве.

Но сперва несколько слов о самом славянофильстве, о его месте в истории русской мысли и литературы. В советском литературоведении об этом направлении писалось неоднократно и

¹² А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 2—3.

много.¹³ Отмечалась позитивная роль славянофильства в формировании русской национальной культуры,¹⁴ негативная — в сходных чертах формулы «самодержавие, православие, народность» и некоторых славянофильских лозунгов.¹⁵

Естественно, что с «вершины лет» славянофильство, как и всякое другое учение, с которым современность разделяют уже более полутора веков, легко оценить критически. В связи с этим хочется вспомнить известные слова А. И. Герцена: «В их (славянофилов. — С. Н.) решении лежало верное сознание живой души в народе, чутье их было пронизательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России, как бы тягостно ни было, — не смертельная болезнь. И в то же время, как у Чаадаева, слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа, у славян явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа».¹⁶ В этой характеристике Герцена, конечно, есть значительная доля преувеличения и несколько наивной романтики. Дилемму — «гибель» личности во имя «спасения» народа или спасение народа путем «самоуничтожения» личности — вряд ли можно назвать действительно вытекавшей из русской жизни середины XIX в. Трагизм и невозможность компромисса в такой постановке вопроса во многом искусственны. Но для самих славянофилов, равно как

¹³ Список исследований, так или иначе затрагивающих тему раннего славянофильства, столь велик, что мы позволим себе назвать лишь наиболее значительные работы. Прежде всего это коллективный труд «Литературные взгляды и творчество славянофилов» (М., 1978), монографии Ю. З. Янковского «Из истории русской общественно-литературной мысли 40—50-х годов XIX столетия» (Киев, 1972), В. И. Кулешова «Славянофилы и русская литература» (М., 1976). Укажем также статьи, авторы которых занимают наиболее принципиальные позиции в оценке славянофильства: Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство. — Историк-марксист, 1941, № 1; Галактионов А. А. и Никандров П. Ф. Славянофильство, его национальные истоки и место в истории русской мысли. — Вопросы философии, 1966, № 6; Дудзинская Е. А. 1) Буржуазные тенденции в теории и практике славянофилов. — Вопросы истории, 1972, № 1; 2) Идеино-теоретические позиции славянофилов накануне крестьянской реформы. — История СССР, 1972, № 5.

¹⁴ См., например: Познанский В. В. Очерк формирования русской национальной культуры. М., 1975. — Автор книги подчеркивает также позитивное значение образования двух лагерей в русском либерализме середины XIX в. — славянофильского и западнического, считая этот процесс фактором «большого значения не только для истории идей, но и для развития национального самосознания в широких кругах русского общества» (с. 186).

¹⁵ Этот наиболее уязвимый аспект славянофильских теоретических построений не только всегда отмечается исследователями, но иногда и выдвигается на первый план. Так, А. Г. Павлов в книге «От дворянской революционности к революционному демократизму» (М., 1977) решительно утверждает, что «взгляды на народ славянофилов, критиковавших существовавший строй России, мало чем отличались от официальной теории „православия, самодержавия и народности“, главной целью которой было защитить именно существовавший социальный строй» (с. 31).

¹⁶ Герцен А. И. Избранное. Л., 1970, с. 493.

и для Аполлона Григорьева, эта дилемма казалась реально существующей, необходимость выбора — «народ» или «личность» — неизбежной. И если Герцен говорил о ней как бы со стороны, из своего лондонского далека, интуитивно ощущая себя уже «спасшимся», не отдавшим безропотно свою личность, свои идеалы «потoku времени», то Григорьев смотрел на свою личную судьбу как на жертву, отданную «вакханалии» нового, рождающегося мира во имя спасения народа. «Увы! Новое идет в жизнь, но мы — его жертвы. Жертвы, не имеющие утешения даже в признании, — писал Григорьев в 1858 г. — Жертвы Герцена — оценю даже я, православный, а наших жертв никто не признает: слепые стихии, мы и заслуги-то даже не имеем».¹⁷ Григорьев до болезненности остро воспринимал противоречия времени. Тогда же он писал с каким-то роковым сознанием неотвратимости своей судьбы: «...всякого от православия „претит“, ибо для всех оно слилось с ужасными вещами, а мы, его носители и жрецы — пьяные вакханки, совершающие культ тревожный, лихорадочный новому, неведомому богу».¹⁸

¹⁷ Письмо М. П. Погодину от 7 марта 1858 г. — В кн.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 226. — Среди корреспондентов Григорьева на фигуре М. П. Погодина следует остановиться особо прежде всего потому, что сам факт переписки Григорьева с Погодиным, чье имя обычно называется одним из первых в ряду идеологов «охранительного» направления в общественной мысли России 40—60-х годов XIX в., может быть расценен как «компрометирующее» Григорьева свидетельство, говорящее о реакционности его взглядов. Такое решение вопроса, однако, было бы упрощенным. Отношения Григорьева к Погодину сложны, их вряд ли можно охарактеризовать в однозначной формулировке. При глубоких различиях в темпераменте, образе жизни, мировоззрении Григорьева и Погодина сближали «плебейское» происхождение и исходившая отсюда антипатия к аристократизму во всех его проявлениях. Этих двух столь несхожих между собой людей объединяли, выражаясь языком самого Григорьева, общие «ненависти».

Погодин, этот, по меткой характеристике Б. Ф. Егорова, «умный, хитрый, тщеславный, одновременно лакействующий перед графом Уваровым реакционер и ненавидящий аристократию плебей» (Уч. зап. ТГУ, вып. 306, с. 353—354), умел привлекать к себе молодежь, используя ее для обновления и поддержки издававшегося им журнала «Москвитянин». Можно согласиться с Б. Ф. Егоровым, что колоритная личность Погодина могла вызывать и вызывала у современников самые различные чувства. Григорьеву же, при всей необузданности его натуры, любви к разгульной и бесшабашной жизни, нужен был, как это часто бывает, «исповедник» — человек, перед которым можно, не стесняясь, излить душу, покаяться, пускай и ненадолго, во всех «проступках» и грехах. И Погодин часто невольно оказывался для Григорьева таким личным «духовником». О том же, что, кроме стремления использовать литературно-критический талант Григорьева в «Москвитянине», побуждало Погодина не порывать отношений, а в известных случаях даже помогать столь антипатичному ему в целом человеку, как Григорьев, мы можем лишь строить предположения, поскольку со времени издания богатого фактическим материалом, но очень тенденциозного исследования Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» (кн. 1—22. СПб., 1888—1910) об этом видно, но крайне реакционном историке и журналисте у нас не появилось специальных работ.

¹⁸ Письмо М. П. Погодину от 7 марта 1858 г.

Григорьев никогда не был в полном смысле слова славянофилом и даже никогда не считал себя примкнувшим к славянофильству, это следует сказать сразу, но, не сознавая того, он оказался во власти вопросов, поставленных славянофилами, став и в жизни, и на литературном поприще жертвой мучительной попытки разрешить их.

Несмотря на все зигзаги нелегко сложившейся личной судьбы¹⁹ и, как неоднократно признавал сам Григорьев, «неуясненного» самому себе мировоззрения, он до конца жизни верил, точнее, стремился верить, что «жизнь истощилась и новая начинается, новая, которая пойдет от толчка православия, второй оболочки христового учения, православия, которое носит еп гегме свой протест в себе, ретроградный».²⁰ Неоднократно отрекался Григорьев от славянофильства, обвиняя славянофилов в «теоретическом пуританизме», неумении и нежелании погрузиться в самую стихию народной жизни, в непосредственность чувств и верований.²¹ Но это «открещивание» от славянофильских идеалов было, в сущности, лишь попыткой найти этим идеалам новое, более отвечающее веяниям времени обоснование и интерпретацию. Григорьев сумел придать славянофильству новое звучание, но его обновленное славянофильство не стало внутренне цельным мировоззрением, не превратилось в последовательную систему идей. Не раз Григорьев с горечью и отчаянием писал: «Я лично истерзан до того, что желаю только покоя смерти, без малейшей фразы; если что еще и воздерживает меня от самоубийства, так это, право, не дети, ибо я верю, что бог, правосудный ко мне, будет милосерден к ним, что их не оставит дед и Евгений. Не страх смерти, но вера в будущую жизнь — ибо как ни вертись, а невольно остаешься с верою не догматической, а верою в бога, любовь всепрощающую и всепонимающую — а вопрос: к чему же дана эта жажда деятельности, эта раздражительная способность жить высшими интересами? Должно же найти всему этому употребление. О! как пламенно поверил бы я в бога, как бы я пошел за ним, если бы хоть раз милосердие, а не одно неумолимое правосудие, ответило мне на душевные вопросы!».²² И все же в Григорьеве до конца жизни жила интуитивная, полумистическая даже вера в правоту своих убеждений, трагически соединенная с сознанием бесперспективности борьбы с господствующими идейными течениями своей эпохи. «Околеем мы бесславно, без ответа, без битвы, а между тем мы одни видим смут-

¹⁹ См.: Спиридонов Вас. Аполлон Григорьев. — В кн.: Полн. собр. соч. Ап. Григорьева, т. I. Пг., 1918; Саводник В. А. А. Григорьев. Биографический очерк. — В кн.: Собр. соч. Ап. Григорьева, вып. I. М., 1915.

²⁰ Письмо А. Н. Майкову от 9 января 1858 г. — В кн.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 217.

²¹ Письмо Е. Н. Эдельсону от 13 ноября 1857 г. — Там же, с. 185.

²² Письмо М. П. Погодину (без точной даты, написано до 18 января 1856 г.). — Там же, с. 148.

ную настоящую цель», — писал Григорьев, пытаясь подвести итог своим идейным исканиям.²³

Очень часто Григорьев противоречив в оценках своей эпохи, роли православия, русского народа, и в то же время в самой этой противоречивости есть внутреннее единство, ярко отражены определенные психологические закономерности и даже более того — закономерности времени, на которое приходится творчество Григорьева. Есть у Григорьева и то, что можно назвать постоянством антипатий. Ему претит идея чисто материального, бездуховного прогресса, убеждение, что есть «так называемый прогресс и что конец этого прогресса — падение или лучше уничтожение искусства, науки, вообще стремления, практичности, человечество в покое, ерго — человечество на четвереньках». Григорьев постоянно, в какие бы крайности мнений он ни бросался, доказывал, что «полагать, что в нас (т. е. в русских. — С. Н.) как в племени, кроме абсолютной гнусности, ничего нет, значит, подавать руку централизации, т. е. деспотизму — все равно, Николаевскому или Робеспьеровскому, что равно — гадко».²⁴ Всегда ненавистны были Григорьеву и теории, провозглашавшие, что «государственная свобода, политические права, наука — вздор и побрякушки, что главная цель — есть, пить и... — значит, ты сам знаешь что».²⁵

Во всех цитированных характеристиках, в отличие от смутных и расплывчатых определений Григорьевым своих положительных идеалов, есть наряду с прямолинейностью, граничащей с грубостью, безапелляционностью убийственная точность, хлесткость и емкость, подлинная сила слова. Сумбурный поток мыслей и чувств, который представляют собой письма Григорьева, не оставляет туманного впечатления. Свою главную мысль безалаберный и «путаный» Григорьев в порыве вдохновения все же умел высказывать эмоционально, ярко, без прикрас и главное — без «словесной бравады»,²⁶ модной в те годы в русской публицистике, ставшей в первое время после ослабления в конце 50-х годов цензурного гнета нарочито «смелой» и многоречивой.

²³ Письмо М. П. Погодину от 7 марта 1858 г. — Там же, с. 227.

²⁴ Цит. по публикации Б. Ф. Егорова «Переписка Ап. Григорьева с Н. Н. Страховым» (Уч. зап. ТГУ, вып. 167, с. 164).

²⁵ Там же, с. 165.

²⁶ Григорьев обладал незаурядными философскими способностями, работал в себе глубокую и тонкую диалектику мысли. Его мышление как бы строится на противоречиях, живет ими. Бесконфликтность, прямолинейная ясность и завершенность внутренне отталкивают Григорьева, духовное развитие интуитивно понимается им как борьба с самим собой, душевное раздвоение, разлад и трагедия. Яркое свидетельство такой «стихийной» интуитивной диалектичности, лежащей в самой основе мышления Аполлона Григорьева, — одна из наиболее ранних из дошедших до нас его рукописей под заглавием «Отрывки из летописи духа» (А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 311—312). Постоянно повторяются мотивы двойственности человеческих чувств, тщетности поисков однозначного исхода страданий человека и в поэзии Григорьева.

Спектр «ненавистей» «слабохарактерного» Григорьева, как любили подчеркивать многие его современники (Фет, Полонский и др.), всегда был достаточно определенным, практически неизменным. Во внешне разбросанных, не спаянных в органическое целое идеях и чувствах Григорьева неизменно ощущается внутреннее единство — единство мироощущения.

Пожалуй, напрасными были бы попытки привести идеи Григорьева к какому-то искусственному «общему знаменателю», не допускающему двойственных толкований. Для Григорьева все «истинное» — даже сама жизнь — двойственно, скрывает в себе внутреннее противоречие, в котором и кроется их подлинное, не «сочиненное» единство. «Всякая жизнь имеет двойственный лик Януса», — это казалось для зрелого Григорьева аксиомой.²⁷ Такое, в сущности, поистине трагическое сознание «раздвоенности жизни», ощущение непреодолимого разрыва между «вечностью идеала» и смертью человека, «тщетно стремящегося к этому идеалу», заметное уже у Герцена, Григорьевым было обострено до предела, превращено в главный «личный вопрос», а впоследствии как будто бы заново пережито, развито и с поразительно художественной силой передано Достоевским. Но видя в своей собственной жизни мрачного «двойника» своей души, своих бесконечных духовных исканий, Григорьев не мог и, может быть, не имел мужества остановиться на таком признании «двуличия» жизни во всех ее проявлениях, общих и частных. Властное и неодолимое стремление во что бы то ни стало «вмешаться» в жизнь влекло его в водоворот новых идейных поисков.

Поэтическая жажда «жить, жить и жить», увлекающая склонного к романтической экзальтации Григорьева, возбуждала в нем страстное желание «поверить в минуту безгранично текущей жизни, ее остановить, ее определить»,²⁸ а горький жизненный опыт то и дело заставлял признаваться: «Я даже, наконец, ни во что не верю, кроме художественной иронии жизни».²⁹ Слова Григорьева, сказанные им за три года до смерти в одном из писем Н. Н. Страхову, — «жизнь есть глубокая ирония во всем»,³⁰ можно назвать исходом его идейных исканий, если безысходность могла служить исходом. Отвергая «все и вся», кроме «художественной иронии жизни», Григорьев все же оставался верующим в человека, в нового «человеческого» бога. Примерно в это же время он писал Страхову: «Я столь же мало славянофил, сколько мало западник, столь же далек от Аскоченского, сколько и от Добролюбова. Что же я такое? Этого я пока еще и сам не знаю. Прежде всего, я — критик, засим — человек, ве-

²⁷ Письмо А. Н. Майкову от 9 января 1858 г. — Там же, с. 215.

²⁸ Письмо Е. Н. Эдельсону от 16 ноября 1857 г. — Там же, с. 188.

²⁹ Письмо Н. Н. Страхову от 23 сентября 1861 г. — Там же, с. 281.

³⁰ Там же.

рующий только в жизнь».³¹ Григорьев как будто даже намеренно отказывался от подведения итогов своим теоретическим поискам, все более и более проникаясь убеждением, что жизнь не подвластна определениям и формулам, в которые упрямо пытается втиснуть ее «строгая наука». Оценка Григорьевым своего господствующего умонастроения — «хандра полнейшей безнадежности с неутолимой жаждой какой-либо веры!»³² — тонко оттеняет в конечном итоге всегда трагическое и вместе с тем исполненное глубокой веры в лучшее будущее России и ее народа звучание его идей. Григорьев никогда не был пессимистом и скептиком. Психологически предрасположенный к романтическим мечтаниям и такой же романтической, чуждой догматизма, религиозной мистике, он не случайно при всех своих колебаниях всегда отдавал предпочтение славянофильству, а не западничеству. Не случайно и то, что путь Григорьева к сближению со славянофильской идеологией не был простым и безболезненным; Григорьев не смог, подобно, скажем, Константину Аксакову, отдаваться своей мечте беззаветно, без оглядки и сомнений, и в то же время не находил в себе сил, подобно Герцену, покориться суровой и беспощадной критике своих заветных идеалов «аналитическим разумом». Отсюда постоянное мучительное «брожение идей», свойственное Григорьеву, его неумение до конца поверить в собственные убеждения и в то же время неспособность и отказаться от них, в корне изменить их.

В начале литературной деятельности Григорьев прошел и через период религиозного скепсиса, увлечения западничеством и неприязни к славянофильству.³³ Одно время он был даже близок к петрашевцам,³⁴ воспевал в стихах «судный день» народного

³¹ Письмо Н. Н. Страхову от 15 декабря 1861 г. — Там же, с. 288.

³² Письмо Н. Н. Страхову от 18 июля 1861 г. — Там же, с. 270.

³³ Через два года после окончания Московского университета, в 1844 г., Григорьев, утомленный однообразием жизни под «родительским оком» и желая переменить обстановку (к этому времени относится его безответная любовь к А. Ф. Корш), неожиданно отправляется в Петербург. (Обстоятельства и причины отъезда откровенно переданы самим Григорьевым в «Листках из рукописи скитающегося софиста». — См. в кн.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 01—016). Жизнь в столице не принесла Григорьеву личного счастья, но его бурно развернувшаяся здесь литературная деятельность по-настоящему открыла для молодого критика и поэта «мир мысли», приблизила к реальной России и настоящей литературе. В Петербурге, писал Вас. Спиридонов, перед Григорьевым «развернулся мир новых впечатлений и веяний. С верой в людей, с жаждой жизни и с „фанатизмом истины и свободы“ вступил он в этот мир. Началась для него жизнь, полная, с одной стороны, сердечных увлечений и разгула, с другой, упорной литературной деятельности и лихорадочных нравственных и умственных исканий» (Полн. собр. соч. Ап. Григорьева, т. I, с. LIV).

³⁴ См. статью Вас. Спиридонова «Аполлон Григорьев» (с. LVI—LVIII). Спиридонов основывает свое мнение на показаниях на допросе по делу петрашевцев М. Е. Салтыкова-Щедрина, в которых, в частности, говорилось: «По выходе из лицея (в 1844 г.) бывал у Петрашевского нередко по пятницам», где в числе присутствующих «встречал» Валериана Май-

восстания, убежденно, со всем пылом молодости восклицая: «И весело тогда на башнях и стенах народной вольности завееет красный стяг».³⁵ Но в конце 40-х годов в мировоззрении Григорьева наступил болезненно-мучительный перелом. Раскаиваясь в полной отчаянного «безверия» и подчас разгульной жизни, закружившей Григорьева в Петербурге, он, физически и духовно изнеможенный, без денег и былых надежд, возвращается в Москву, вскоре оказываясь в числе немногих русских критиков, положительно оценивших основные идеи «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя. Григорьева особенно поразило сходство собственных настроений и переживаний со «святой болезненностью», которой была проникнута вся в целом очень сложная и противоречивая книга Гоголя. И далеко не случайно, что эпиграфом к своей статье «Гоголь и его „переписка с друзьями“» Григорьев выбрал вырвавшиеся из больной души Гоголя отчаянные строки: «И понятною тоскою уже загорелась земля; черствее, черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает в виду у всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоём мире!».³⁶ Именно отчаяние сблизило Гоголя и Григорьева в те годы, заставив обоих искать спасения в не требующей «рационалистических» доказательств «вере» и христианском смирении.

Большую роль в смысле усиления воздействия на Григорьева «Выбранных мест из переписки с друзьями» сыграло появление в печати романа А. И. Герцена «Кто виноват?». Пораженный «безысходным исходом» этого произведения, Григорьев окончательно перестает верить в возможность облегчения человеческих страданий усовершенствованием общественного устройства. Ведь, как кажется Григорьеву, драма трех героев «Кто виноват?» могла развернуться и в другую эпоху, в иных социальных условиях, ничем, ничуть не изменив при этом своего безысходного трагического характера. Так, Григорьев пишет в это время Го-

кова, Евгения Есакова, Николая Данилевского, Аполлона Григорьева и Штрاندмана (там же, с. LXI). В период предполагаемого сближения с петрашевцами бунтарские настроения Григорьева достигли апогея. Об этом говорят и его яркие, распространившиеся в то время в рукописных списках стихи:

И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,
И будь сам бог аристократ —
Ему б я гордо пел проклятья...
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демагог.

(Стихи относятся к 1845—1846 гг. — Григорьев А. Стихотворения и поэмы, с. 89).

³⁵ Там же, с. 95.

³⁶ Григорьев А. Сочинения, т. I. Критика, с. 1.

голю, что из романа Герцена следует, что «никто и ни в чем не виноват, что все условлено предшествующими данными и эти данные опутывают человека, так что ему нет из них выхода, ибо „привычка есть цепь на человеческих ногах“. Одним словом, человек — раб, и из рабства ему исхода нет».³⁷

Пытаясь преодолеть отчаяние, которым завершился «западнический» период в жизни Григорьева, он постепенно, после мучительных колебаний и «безверья», воспринимает казавшиеся «исцеляющими» славянофильские идеи. В 1849—1850 гг. Григорьев восстанавливает подорванные ранее отношения с М. П. Погодиным, который вскоре практически передает ему редактирование «Москвитянина». Начинается один из наиболее плодотворных периодов творчества Григорьева, когда закладываются основы его собственного обновленного и демократизированного славянофильства. Позднее Григорьев даже вспоминает с грустью: «Ведь правда была только там, в этом зеленом „Москвитянине“».³⁸ И хотя, обращаясь в 1849 г. к Погодину с предложением о сотрудничестве в «Москвитянине», Григорьев считал своим долгом оговориться: «Сознавая себя эклектиком, я не стану под знамя ни той, ни другой партии»,³⁹ все же в программных статьях Григорьева 1851 и 1852 гг. («Русская литература в 1851 году» и «Русская изящная литература в 1852 году»), где были заложены основы его теории «органической критики», явственно отразилось если не славянофильское, то близкое к славянофильскому мировоззрение. Как практически во всех крупных статьях доказывал тогда Григорьев, искусство измеряется «вечным идеалом», а сам этот идеал скрыт в «народной душе», это звучало вполне по-славянофильски.⁴⁰ Правда, по-

³⁷ Письмо Н. В. Гоголю от 17 ноября 1848 г. — В кн.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 114.

³⁸ Письмо М. П. Погодину от 4 августа 1859 г. — Там же, с. 245.

³⁹ Письмо М. П. Погодину от 22 ноября 1849 г. — Там же, с. 122.

⁴⁰ Заметим, что первые признаки обращения Григорьева в «славянофильскую веру» были видны уже с 1845 г. Так, например, в письме Погодину в начале 1846 г., предлагая свои услуги в качестве сотрудника «Москвитянина», Григорьев добавлял, что ручательством «за православный и славянский дух» его рецензий могут служить статьи: 1) о проповедях Филарета, 2) о романе Вельтмана «Емеля» и 3) Сперанского о законах (А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 103), которые вскоре были опубликованы в «Финском вестнике». Все три статьи имеют типично славянофильское звучание и патетику, хотя трудно предположить, что Григорьев за столь короткий срок (не более года) сумел глубоко усвоить славянофильское учение. Например, в статье о законах Сперанского Григорьев вполне по-славянофильски говорит о «гниении» и неминуемой гибели Запада, противопоставляя ему «непонятый и незнаемый» славянский мир, которому суждено начать «новую историю» (Финский вестник, 1846, т. VIII, отд. V, с. 55—56). По мнению В. Крупица, во время особенного «неистовства» николаевской реакции (на которое как раз и приходится деятельность Григорьева в «молодой редакции» «Москвитянина»), «в частности, в период жестоких цензурных гонений, который последовал за смертью Белинского в 1848 году, период, известный как „мрачное семилетие“, Аполлон Григорьев сумел не только сохра-

сравнению, например, с известной статьей А. С. Хомякова «О возможности русской художественной школы» в работах Григорьева начала 50-х годов больше говорится не о народном, а о вечном и объективном, не о путях к воплощению «идеала» в земную жизнь, а об «идеале» как критерии оценки произведений искусства. Но это лишь «разночтения» в понимании и приложении к искусству и жизни в своей основе одних и тех же идей. Григорьев в данной статье занят прежде всего проблемами развития русской литературы, а Хомякова во всех его статьях интересовали главным образом общественно-политические вопросы — о путях преобразования России и перспективах ее дальнейшего духовного и социального «самоусовершенствования». Нам важно отметить здесь прежде всего то, что Григорьев выступает в критических статьях москвитянинского периода с уже сформировавшимся в главных чертах взглядом на искусство и жизнь вполне самостоятельно и в то же время как критик славянофильской ориентации. Славянофильство уже перестало быть для него «откровением», как в конце 40-х годов, а служило опорой, идейным фундаментом собственного, в значительной степени нового — по сравнению с господствовавшими в русском обществе в 40-х годах идеями — мирозерцания.

Увлеченный работой в «молодой редакции» «Москвитянина», Григорьев вновь окунулся в эти годы (1850—1855) в водоворот «страстей и идей». Его творческая, особенно литературно-критическая, деятельность в этот период очень интенсивна и плодотворна, но писем (за исключением писем преимущественно делового характера⁴¹) Григорьев тогда почти не писал. Критика и поэзия Григорьева не являются предметом нашего исследования. И все же необходимо, хотя бы предельно кратко, сказать об идейном соотношении между литературным творчеством и личными письмами Григорьева. Дело в том, что мировоззрение Григорьева, каким оно раскрывается в его переписке, не всегда точно и полно отражалось в его стихах и далеко не всегда совпадало с основными идеями его критических статей. Существовало как будто два Григорьева: один — талантливый критик и публицист, создатель теории «органической критики», поклонник и проводник созерцательного «вечного идеала», полноты и цельности жизни; другой — непримирившийся с тягостной ношей своей очень русской и очень тяжелой, физически и нравственно, жизни бунтарь и поэт, отчаянно бьющийся над разрешением «проклятых вопросов бытия», впечатлительный, нервный, изму-

нить высокие нормы его (Белинского. — С. Н.) литературной критики, но также поднять их даже выше» (Григорьев Ап. Сочинения, т. I. Критика, с. VII).

⁴¹ Особенно активную «деловую» переписку по издательским вопросам Григорьев вел в это время с владельцем «Москвитянина» М. П. Погодиным, который даже в период расцвета деятельности «молодой редакции» не желал полностью выпускать редактирование журнала из своих рук.

ченный тоской «по идеалу». Противоречия и столкновения между этими двумя «я» Григорьева проявлялись постоянно. Так, например, в статье «Русская изящная литература в 1852 году» Григорьев писал: «Кого ни возьмите вы из тех избранных, которые отметили жизнь свою делами, оставили по себе какой-либо прочный след, все они разумели смысл жизни и, стало быть, серьезно смотрели на жизнь»; «Все они, — доказывал критик, — отрицательно ли, положительно ли действовали в литературе во имя ясно сознаваемого и живо чувствуемого идеала». ⁴² Позднее, в 1858 г., в статье «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» Григорьев выражает эти мысли еще определеннее: «у гениальных натур... созерцание не разорванное, а цельное». ⁴³

Никто сейчас уже не станет, думается, отрицать весомого вклада Аполлона Григорьева в русскую поэзию и в русскую общественную мысль. Но ведь о цельности мирозерцания Григорьева (если рассматривать в совокупности его поэзию, литературную критику и письма) вообще вряд ли можно говорить. Для его собственных взглядов характерны, наоборот, болезненное раздвоение сознания, «смутность» верований, бунт против действительности, т. е. как раз те качества, которые Григорьев осуждает в своих программных критических статьях о русской литературе. Подлинная глубина, сила взглядов Григорьева в обостренном восприятии «язв» современного ему общества, в беспощадном обличении пошлости окружающей жизни и столь же беспощадном самобичевании, способности видеть односторонность собственных теорий точно так же, как ограниченность идей своих противников.

Оценивая поэтическое творчество А. А. Фета в статье «Русская изящная литература в 1852 году», Григорьев писал: «Подле стихотворений истинно прекрасных встречаете такие, которые просто плохи или даже непонятны, встретите по местам такого рода причудливость мотивов, что не можете верить их искренности, такого рода болезненность, которая как будто сама собою любит и услаждается». ⁴⁴ Из этих слов вытекает, что самоуслаждающаяся болезненность оценивается Григорьевым как едва ли не главный недостаток поэзии Фета; далее, в той же статье, он, не колеблясь, произносит приговор «болезненной поэзии» вообще. Но те же самые недостатки, ту же самую «самоуслаждающуюся болезненность» В. Г. Белинский несколькими годами раньше осуждал и в поэзии самого Григорьева. Более того, упоение страданием свойственно Григорьеву в гораздо большей степени, чем Фету. В страдании в поэзии Григорьева находила романтическое воплощение вся человеческая жизнь — и счастье, и муки, и рождение, и смерть. Как писал Б. Ф. Егоров,

⁴² Григорьев А. Литературная критика, с. 60.

⁴³ Там же, с. 142.

⁴⁴ Там же, с. 86.

страдание для Григорьева — «это и боль, и болезнь, и интенсивность, и этическая высота, и признак настоящего человеческого чувства, в противовес бездумию, тупому безразличию, серенькому, бесстрастному существованию».⁴⁵ Может быть, Л. Гроссман и имел некоторые основания заявить, что Аполлон Григорьев является в истории литературы «один из самых полных примеров критика положительного уклада»,⁴⁶ но человеком, поэтом, мыслителем своего достаточно цельного жизненного и идейного «уклада» его уж никак нельзя назвать. Григорьев — бунтарь, отрицатель по самому психологическому строю своей личности и, как ни парадоксально, в своих критических статьях он произносит суровый приговор прежде всего самому себе: хваля «цельность миросозерцания» художника — своей мятущейся мысли, никогда не умевшей быть подлинно «целостной»; осуждая «болезненность» в поэзии — болезненности и цыганской надрывности своих собственных стихов, которые с полным правом можно назвать апофеозом страдания.⁴⁷ Позднее Ф. М. Достоевский, как бы продолжая тенденции, интуитивно проявившиеся в художественном творчестве Григорьева, уже открыто скажет в своих произведениях, окончательно преодолев рамки «ортодоксального» славянофильства: страдание — основной закон человеческой жизни. И в этом, а не в недостижимой здоровой «цельности» миросозерцания действительный итог исканий Григорьева. В этом подлинный смысл его «затаенных идей», нашедших столь блестящее художественное выражение в творчестве Достоевского, ставшего в известном смысле преемником «верований» Григорьева.

⁴⁵ Григорьев А. Стихотворения и поэмы, с. 20.

⁴⁶ Гроссман Л. Три современника. (Тютчев—Достоевский—Аполлон Григорьев). М., 1922, с. 50.

⁴⁷ Лишь изредка нескончаемую вереницу стихотворений, полных тоски, борьбы с самим собой, безысходности и вновь борьбы сменяет сарказм, сатира на «образованное общество» — стихи, в которых убийственной иронии часто сопутствует и провозглашение славянофильских идеалов. В этом смысле характерно, например, стихотворение «Искусство и правда», которому Григорьев остроумно дал подзаголовок «элегия—ода—сатира». Декларативно-славянофильские элементы в этом стихотворении очевидны. Типичны, например, такие строки:

Пусть будет фальшь мила Европе старой
Или Америке беззубо-молодой,
Собачьей старостью больной...
Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;
И правду любит Русь, и правду понимать
Дана ей господом святая благодать;
И в ней одной теперь приют находит
Все то, что человека благородит.

(Григорьев А. Стихотворения и поэмы, с. 129).

Следует, однако, заметить, что в контексте всей, в целом глубоко трагической поэзии Григорьева такие самоуверенные утверждения выглядят голословно, неубедительно.

Наиболее ярко и полно мировоззрение Григорьева выразилось в его письмах из Италии, где он жил в 1857—1858 гг. вместе с семьей князей Трубецких учителем молодого «князька», как обычно писал друзьям в Россию сам Григорьев. Едва ли не центральная тема писем Григорьева этих лет — отношение своего мировоззрения к славянофильству.

Сразу же после отъезда в Италию Григорьев писал М. П. Погодину о себе и своих друзьях по «молодой редакции» «Москвитянина»: ⁴⁸ «Может быть, мы ничего не сделаем, может быть, мы только брага или даже пена будущего пива, но если чему-либо делаться в настоящую минуту, то наших рук дело миновать не может». ⁴⁹ В этих словах глубокая вера в «истинность» своего мировоззрения, в его торжество в будущем, — вера, пришедшая уже тогда, когда размышления о сущности своего «взгляда» на самобытность России только овладевали Григорьевым и не достигли еще ни определенности, ни завершенности. Но Григорьева это, казалось бы, еще не тревожит: «О том, что у меня мало земли под ногами, — как выражался человек, которого ум я глубоко уважаю, но характер гражданский и личный ценю весьма дешево, — жалеть нечего. Земли всегда будет достаточно под каждым из нас со временем: были бы крылья!». ⁵⁰ Первые заграничные впечатления опьянили Григорьева. «Сначала, как всегда бывает со мною, новость различных впечатлений и быстрота, с которой они сменялись, подействовали на меня лихорадочно-лирически, — писал он Е. С. Протопоповой. ⁵¹ — Я истерически хохотал над пошлостью и мизерией Берлина и немцев вообще, над их аффективной наивностью и наивной аффектацией, честной глупостью и глупой честностью; плакал на Пражском мосту в виду Пражского Кремля, плевал на Вену и австрийцев, понося их разными позорными ругательствами и на всяком шаге из какого-то глупого уδαства подвергая себя опасностям быть слышимым их шпионами, одурел (буквально одурел)

⁴⁸ Ядро «молодой редакции» «Москвитянина» составили друзья Аполлона Григорьева А. Н. Островский, Е. Н. Эдельсон, Т. И. Филиппов, Б. Н. Алмазов.

⁴⁹ Письмо М. П. Погодину от 10 августа 1857 г. — В кн.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 165.

⁵⁰ Письмо М. П. Погодину от 26 августа 1857 г. — Там же, с. 168.

⁵¹ Е. С. Протопопова, дочь священника семьи князя С. М. Голицына, будущая жена композитора А. П. Бородина, женщина с незаурядными музыкальными способностями, развитым эстетическим вкусом. Григорьев познакомился с ней в начале 50-х годов через семью Визард, где он, влюбленный в одну из сестер Визард Леониду Яковлевну, был тогда частым гостем и где Е. С. Протопопова была в это же время учительницей музыки. Случайное по началу знакомство переросло в дружбу. Во время жизни Григорьева в Италии Протопопова стала его постоянным корреспондентом. В отличие от сумбурных, резких, подчас просто грубых по языку писем к близким друзьям — Е. Н. Эдельсону и А. Н. Майкову — письма Григорьева к Протопоповой сдержаннее в эмоциях и вместе с тем художественнее, ярче.

в Венеции, два дня в которой до сих пор кажутся мне каким-то волшебным, фантастическим сном».⁵²

Однако мысли о будущих судьбах России не переставали волновать Григорьева. Он с радостью и энтузиазмом воспринимает первые вести о готовящейся отмене крепостного права. «Как бы ни сделали, в какой бы степени ни сделали — начало положено. Ура — Александру II-му, благоденствие великому Отечеству!» — восклицал Григорьев в письме к М. П. Погодину от 18 сентября 1857 г.⁵³

Со временем Григорьева все более и более захватывают размышления об основах и смысле своего мировоззрения. «Знаю только теперь положительно и окончательно, что я столь же мало славянофил, сколь мало западник...», — пишет Григорьев М. П. Погодину 27 сентября 1857 г.⁵⁴ И уже с гораздо большим внутренним напряжением звучат его слова в следующем письме Погодину: «Будущее темно — в настоящем какие-то слепые, но страшные ненависти, какие-то смутные, но пламенные верования... Во что? В этом-то и вопрос... В русское начало? Да что оно такое? Целую книгу исписал я уже мечтами по его поводу и анализом самым бесстрашным, а в голове и в сердце все еще тьма-тьмущая».⁵⁵ Несколько позже в письме к Е. Н. Эдельсону Григорьев с вновь вспыхнувшим энтузиазмом напишет (по всей вероятности, в связи с чтением сочинений Шеллинга, учением которого он с новой силой увлекся за границей): «Глубоко говорит Шеллинг, что появление нового бога выражается первоначально в вакханалиях, неистовстве, юродстве — результатах могущественного, но не уясненного самому себе предчувствия, пламенной, но не приведенной в догматы веры. Этот момент есть и в процессах целых эпох, есть и в процессах отдельных душ, как есть во всем создании, ибо это — процесс космический. Этим я не хочу сказать, чтоб душа моя прошла уже эту минуту. Никто из нас не пройдет ее совсем... Всем нам суждено только ждать и под конец разве сказать: „Ныне отпускаеши“... Но те сочувствия, те ненависти, которые лихорадочно бились во мне всегда, получают необоримую прямоту и крепость».⁵⁶

Постепенно Григорьевым овладевают смутные и «роковые» предчувствия надвигающейся на общество страшной и очистительной грозы, которая сметет существующее социальное устройство, — грозы, в которой собственная судьба казалась ему лишь влекомой «стихией» песчинкой. Славянофильство представляется теперь Григорьеву «старообрядчеством», сухим «теоретическим пуританизмом».⁵⁷

⁵² Письмо от 1 сентября 1857 г. — В кн.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 169.

⁵³ Там же, с. 172.

⁵⁴ Там же, с. 179.

⁵⁵ Письмо от 8 ноября 1857 г. — Там же, с. 181.

⁵⁶ Письмо Е. Н. Эдельсону от 13 ноября 1857 г. — Там же, с. 183—184.

⁵⁷ Там же, с. 185.

Григорьеву, выходцу из небогатой чиновничьей семьи, всю жизнь «нищавшемуся», добывавшему средства к жизни тяжелой журнальной работой,⁵⁸ обеспеченные помещики-славянофилы казались аристократией, «барами», и он уже по одному этому не мог (и не хотел) признать за их идеями «окончательной истинности». В самом личном облике, бытовых привычках Григорьева было слишком много, по светским понятиям того времени, «непристойного», грубого, мужицкого.⁵⁹ Любопытно, с какой чуждой любому «аристократу духа» чистосердечной, грубоватой наивностью Григорьев характеризует в письме Е. С. Протопоповой свое местожительство в Италии: «Живу я в великолепном палаццо, где плюнуть некуда — все мрамор да мрамор».⁶⁰ Далеко не «праведник» в личной жизни, Григорьев с подозрением относился к безукоризненно «праведной» жизни вождей славянофильства — И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, К. С. Аксакова. Несоответствие своего личного поведения — беспорядочной, подчас необузданно-разгульной жизни — славянофильским идеалам, от которых Григорьев все же до конца не мог отказаться, мучило его. «Неужели же я в самом деле такое чад бунта, каковым тебе было угодно меня представлять? .. — писал Григорьев Е. Н. Эдельсону. — Если бы это было так, то я был бы давно социалистом, но социализма-то именно и не переваривала никогда моя душа, хотя в нем чисто плотские, и произвольные

⁵⁸ «О строгие судьи безобразий человеческих!» — восклицал Григорьев в письме к М. П. Погодину от 29 сентября 1859 г., рассказывая о своих «злключениях» за границей в 1858 г. — «Вы строги потому, что у вас есть определенное будущее, вы не знаете страшной внутренней жизни русского пролетария, т. е. русского развитого человека, этой постоянной жизни накануне нищенства (да не собственного — это бы еще не беда!), накануне Долгового Отделения или Третьего Отделения, этой жизни каинского страха, каинской тоски, каинских угрызений!». (Там же, с. 251—252).

⁵⁹ В письмах Григорьева достаточно много свидетельств, дающих реальное представление об образе жизни Григорьева и его литературных друзей. Так, в письме Е. Н. Эдельсону от 13 декабря 1857 г. Григорьев пишет: «Глубоко, душевно, искренно благодарю тебя и Островского и Потехина за 23 ноября. Я этот день провел в хандрище необузданной и отдавался ей с какою-то славой. Две годовщины этого дня меня терзали — одна, когда читалась „Бедность не порок“ и ты блевал наверху, другая, когда читалось „Не так живи, как хочется“ и ты блевал внизу в кабинете... Эх! много воды уплыло, и жизнь подчас такая тяжелая и безотрадная наша, что сбросил бы ее с большим чувством». (Там же, с. 202). На редкость правдиво, без всяких прикрас описывает Григорьев свое душевное состояние, рассказывая М. П. Погодину об одном из своих «загулов» во время поездки в Париж в 1858 г.: «Если б Вы знали всю адскую тяжесть мук, когда приходишь бывало в свой одинокий номер после оргий и всяческих мерзостей. Да! Каинскую тоску одиночества я испытывал. Чтобы заглушить ее, я жег коньяк и пил до утра, пил один и не мог напиться! Страшные ночи! Веря в бога глубоко и пламенно, видяши его очевидное вмешательство в мою судьбу, его чудеса над собою, я привык обращаться с ним за панибрата, я — страшно вымолвить — ругался с ним, но ведь он знал, что эти стоны и ругательства — вера» (письмо от 19 сентября 1859 г. — Там же, с. 250).

⁶⁰ Письмо от 20 октября 1857 г. — Там же, с. 176.

требования получают законность, догматизируются... Ты можешь на это отвечать мне вот что: ты любишь беспорядок как беспорядок и ненавидишь социализм именно за то, что он определяет беспорядок, приводит его в порядок, в систему, а тебе дескать нужны просто безобразия... Т. е. что такое? Жизнь, ее бесконечная красота и бесконечные типы? Не так ли... Типическое все сглаживается социализмом, — остается одно общее, как нормальное отправление...».⁶¹ Как мы видим, Григорьев не понимал и не принимал идей утопического социализма первой половины XIX в. Усматривая в самой идее установления «общих норм» человеческого общежития зародыш «мертвого покоя» в социальной и духовной жизни общества, Григорьев приходит к апофеозу свободной от мещанской «благопристойности», бунтующей против «пошлости жизни» личности. По сравнению с москвитинским периодом открытая апология личности — новое во взглядах Григорьева. Как заметил Б. Ф. Егоров, именно тогда — во второй половине 50-х годов — «Григорьев понял ограниченность славянофильской и своей собственной теории, противопоставляющей и принижающей личность в сравнении с „общинным“ началом».⁶² И все же Григорьев не оставляет своих «православно русских» идеалов. В том же письме Е. Н. Эдельсону от 16 ноября 1857 г. он утверждает: «Все прошло, кроме нового начала жизни, которое мы называем русским».⁶³

Для славянофилов это «русское начало» было в своей основе тождественно «общинному началу», в котором они видели «истинное» христианство. Но что понимал под «русским началом» Аполлон Григорьев, со свойственной ему экспрессивностью писавший Ап. Майкову: «Поймите, что испокон века были два знамени. На одном написано: Личность, стремление, свобода, искусство, бесконечность. На другом: Человечество (...), материальное благосостояние, однообразие, централизация?»⁶⁴ Вероятно, это и для самого Григорьева оставалось не вполне ясным. Трудно предположить, что Григорьеву могло импонировать весьма характерное для «ортодоксальных» славянофилов утверждение И. В. Киреевского: «Резкая особенность русского характера в этом отношении (имеется в виду его цельность. — С. Н.) заключалась в том, что никакая личность в общежительных сношениях своих никогда не искала выставить свою самородную особенность как какое-то достоинство; но все честолюбие частных лиц ограничивалось стремлением: быть правильным выражением основного духа общества».⁶⁵ Григорьев неоднократно пытался определить свое собственное понимание «стихий» русской жизни.

⁶¹ Письмо от 16 ноября 1857 г. — Там же, с. 187.

⁶² Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — литературный критик. — В кн.: Григорьев А. Литературная критика, с. 16.

⁶³ А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 188.

⁶⁴ Переписка Ф. Достоевского и И. Тургенева. 1928, с. 166.

⁶⁵ Киреевский И. В. Полн. собр. соч., т. II. М., 1861, с. 272.

«Для меня все яснее и яснее становится мысль, что под покровом разных толков⁶⁶ таятся живые начала: боярское, варяжское или татарское — в одном; левитское — в другом; земское (промышленное и сельскохозяйственное вместе, а не врозь) — в третьем, и т. д. Все это, стихийное, что в нас облекается то той, то другой оболочкой, со временем выступит резко и ясно... А пока... пока, чему же прикажете следовать, как не темным указаниям этого стихийного?» — пишет Григорьев Погодину 18 ноября 1857 г.⁶⁷ Стихия «темная», «неясная», «роковая» постепенно сближается в сознании Григорьева с «русским духом», и он в конце концов преклоняется перед ней как перед «высшей силой», тайно управляющей историческими судьбами России.

В Италии Григорьев проникается все более и более глубоким скепсисом в оценке настоящего и будущего Западной Европы. Для отношения Григорьева к Западу в это время очень характерны строки из его письма Е. Н. Эдельсону от 5 декабря 1857 г.: «Старая Европа — в лице ли социалистов, в лице ли гегелистов левой стороны, во всяком случае, в лице добросовестнейших и благороднейших своих представителей — подняла вопрос о правах плоти, в противоречии якобы с суровыми требованиями того, что она назвала прежде духом и что в сущности есть только негация, математический знак; тогда как дух есть $\pm$. Идеалы ее изжились во фразу, в жест, в эффект. Утопиям нечего было делать иного, как строить по негативным линиям. Все это допотопно выразилось в страшной, последовательной и самой себе противоречащей формуле: *Liberté, Egalité, Fraternité — ou la mort!*... Ни *liberté*, ни *égalité*, ни *fraternité* нет покамест, — потому взять неоткуда, — но *la mort* действовала достаточно, а все без пользы. Но из этого никак не следует, чтобы первая половина формулы, правильно понятая, была виновата, и не следует отрекаться от оной из-за безобразия второй».⁶⁸

В критической части своих взглядов Григорьев более всего близок к славянофильству, близок «неверием» в способность «западных народов» к развитию, в эволюцию «отжившего» социального устройства Запада к подлинной свободе, равенству, братству. С течением времени ощущение Григорьевым неизбежного вырождения западных форм жизни болезненно обострялось. Восклицания типа «Да!.. страшно мелко здесь настоящее перед прошедшим — во всем, повсюду...» становятся все более частыми в письмах Григорьева конца 50-х годов.⁶⁹ «Италия — яд такой натуры, как моя: в ней есть нечто наркотическое, страшно

⁶⁶ По всей видимости, под «толками» Григорьев понимает здесь внутренние различия в быте, характерах и традициях русского народа, своеобразное раздвоение, «многоцветность» народных начал, свойственные, по его мнению, России.

⁶⁷ А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 191.

⁶⁸ Там же, с. 196—197.

⁶⁹ Письмо Е. Н. Эдельсону от 13 декабря 1857 г. — Там же, с. 201.

раздражительно действующее на нервы», — признается Григорьев Е. С. Протопоповой.⁷⁰ Вдали от родины, в обстановке духовного одиночества идейные искания Григорьева постепенно вновь приобретают трагически напряженный характер: «Все так неумолимо окончательно порешилось для меня в душевных вопросах, так последовательно обнажилось до желтых и сухих костей скелета, так суровы стали мои верования, так бесповоротны и так безнадежны все ненависти, что дышать тяжело, как в разреженном и резком воздухе гор».⁷¹ В этих словах буквально слышится душевная боль, искренность, напряженность и драматизм идейных исканий. «Долго надобно было бы толковать о том, почему безнадежность обуяла меня во время, исполненное, по-видимому, великих надежд», — замечает Григорьев далее, признаваясь, что «дело-то в том, что для меня эти надежды — издали еще более, чем вблизи — пахнут серой подземной вулканической лавы и есть что-то страшно зловещее в их блеске».⁷² Вопрос о позитивной, «положительной» стороне своих верований так и не стал для Григорьева решенным. До конца жизни Григорьев сохранил, как он сам писал в поэме «Вверх по Волге» (1862 г.), «жажду жизни, жажду бога».⁷³ Приступы тоски не смогли захлестнуть в Григорьеве стремление к идеалу, веру в Россию. Нельзя сказать, что в поисках ответов на болезненные «вопросы жизни» он «бросился в самый темный лес мистицизма и там ищет спасения», как образно заметил А. И. Герцен о И. В. Киреевском.⁷⁴ Это было бы слишком простым решением вопроса о мировоззрении Григорьева. То, что в конце 40-х годов Григорьев действительно пытался спастись от материализма и «неверия», несущих с собой, как казалось ему тогда, полное порабощение человека материальными условиями существования, не может зачеркнуть другого, не менее существенного факта. Григорьев не поверил в славянофильские идеи мирообновления в полной мере, сохранив в себе лишь «жажду веры», но не саму веру.⁷⁵ И в этом, в страст-

⁷⁰ Письмо от 6 января 1858 г. — Там же, с. 211.

⁷¹ Письмо Е. С. Протопоповой от 3 января 1858 г. — Там же, с. 293.

⁷² Там же, с. 203—204.

⁷³ Григорьев А. Стихотворения и поэмы, с. 240.

⁷⁴ Герцен А. И. Избранное, с. 321.

⁷⁵ Удивительным по силе эмоционального воздействия подтверждением такого умонастроения Григорьева является не так давно (в 1973 г.) найденное и опубликованное Б. Ф. Егоровым стихотворение Григорьева, приложенное автором письма к неопубликованному письму Погодину от 6—13 января 1856 г. Вот как звучат хотя бы две яркие строфы этого интересного произведения:

Трагедия близка к своей развязке,
Пришел конец мучительной борьбе.
Спаситель! Если не пустые сказки
Те язвы, что носил ты на себе.
И ежели твои обетованья
Не звук один, не тщетный только звук...

ной «жажде идеала», в судорожных поисках правды Григорьев и как мыслитель, и как человек близок мятущимся, постоянно роняющим себя, но в глубине души идеалистически чистым героям Достоевского.⁷⁶ Несомненно и то, что сосредоточенный психологизм Григорьева как мыслителя и поэта, постоянно чувствующаяся в его произведениях «нота отчаяния» и душевная растревоженность роднили его с Достоевским. Пожалуй, лишь «святой» для Григорьева вера в право личности на бунт против общества Достоевский не мог сочувствовать, в противоположность Григорьеву призывая к отказу от эгоистического «я» во имя вечного «христианского смирения».

Для понимания особенностей «почвенничества» Григорьева явно заметный в его взглядах культ «бунтующей личности» особенно важен. Ведь, в отличие и от Достоевского, и от Страхова, и в значительной степени даже от «неославянофилов» XX в., Григорьев именно под лозунгом защиты прав личности пытался произвести переоценку ценностей в славянофильстве. «Мысль об уничтожении личности в нашей русской душе есть именно слабая сторона славянофильства», — пишет Григорьев в январе 1858 г. А. Н. Майкову,⁷⁷ тонко улавливая, что «смирение» — характерная черта русского народного характера подмечена и «возвеличена» впервые вовсе не славянофилами, а может быть, хотя и интуитивно, еще Пушкиным. По Григорьеву, пушкинское умиление перед чистой душой «маленького человека» — перефразированное восхищение перед «христианским смирением». Утверждая,

Спаситель! Есть безумные страданья,
Чернеет сердце, сохнет мозг от мук.

(Уч. зап. ТГУ, вып. 306, с. 368—369).

⁷⁶ По мнению Б. Ф. Егорова, не исключено, что Григорьев рассказывал позднее Достоевскому о своих «метаниях». В таком случае нравственные скитания Григорьева могли в прямом смысле стать одним из источников при создании Достоевским сюжетов своих художественных произведений. Так, как пишет Б. Ф. Егоров, «показательно, к примеру, что душевно-психологические черты „падших“ героинь писателя — Настасья Филипповна, Грушеньки — соответствуют иногда характеру подруги Григорьева М. Ф. Дубровской, о которой Достоевский не только знал, но, вероятно, с которой и встречался в квартире Григорьева». (Там же, с. 369). Впрочем, какой бы ни была степень прямого заимствования Достоевским сюжетов к своим романам из личной жизни Григорьева, очевидно, что связь душевной смятенности Григорьева с психологическим надрывом, присущим творчеству и самой личности Достоевского, явно существовала и не была случайной. Особое внимание обращает на эту связь, своеобразную преемственность идейных исканий Григорьева и Достоевского, В. Крунич, считающий даже, что Достоевский во многом является виновником того относительного забвения, которому и по сей день предано имя Григорьева, поскольку он затмил Григорьева, заимствовав и развив многие из его идей в своей литературной и публицистической деятельности (Григорьев Ап. Сочинения, т. I. Критика, с. XXXII).

⁷⁷ Письмо от 9 (21) января 1858 г. — В кн.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, с. 215.

что процесс уничтожения личности «идет в каждом из нас и в целой нашей эпохе — процесс Ивана Петровича Белкина, смиряющегося, безличного начала, а лучше то, правильное сказать, критикующего разные мундиры, в которые личность облакалась», Григорьев с горечью признается в этом письме: «Мы лгали, когда облакались в разные хламиды, да лжем и теперь, когда признаем с Толстым один героизм капитана его (в кавказских сценах) или, пожалуй, лермонтовского Максима Максимовича».⁷⁸ Критикуя «мундиры», в которые «облакалась» личность, Григорьев не менее решительно протестует и против апологизации противопоставленного славянофилами началу личности «смирения», в конце концов отказываясь от всех «догматических» теорий прогресса. «Верь только в народ, старый и новый вместе. Он велик и ему принадлежит все будущее мира, ибо, кроме его, ничего нет живого», — с романтическим пафосом восклицает Григорьев, обращаясь к А. Н. Майкову: «Я не знаю, что для меня отвратительнее: петербургский „прогресс“, разрешающийся фельетоном в „Nord“ о б. . ., или дилетантизм православия, или, наконец, цинический атеизм Герцена!».⁷⁹

Только народ, как неодолимая даже героическим противоборством личности, слепая и всевластная стихия, может, по мнению Григорьева, быть предметом «живой веры» и быть ею хотя бы потому, что больше, как ему казалось, верить не во что.

Понимание и оценка Григорьевым общественной роли православия также являются следствием его преклонения перед народной стихией и в своей основе не вполне или, лучше сказать, не только религиозны. «Под православием разуме[ю] я сам для себя просто известное стихийное историческое начало, которому суждено еще жить и дать новые формы жизни, искусства, в противоположность другому, уже отжившему и давшему свой мир, свой цвет началу — католицизму», — пишет Григорьев в письме М. П. Погодину [26 августа—7 октября 1859 г.], заключая:

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ Там же. — Заметим, что имя Герцена довольно часто и далеко не случайно фигурирует в письмах Григорьева. В конце 40-х годов Герцен для Григорьева величественно мрачный гений, циничный скептик, автор потрясшего его трагического романа «Кто виноват?», от сознания безвыходности положения героев которого Григорьев, ощущая себя одним из этих героев, тщетно пытался спастись, хватаясь как за соломинку за болезненно мистические идеи «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя. Во второй половине 50-х, как и в начале 60-х годов, Герцен для него почти кумир, великий мыслитель, которого Григорьев ставил выше всех своих русских и европейских современников. Ярко характеризуют отношение Григорьева к Герцену в эти годы строки из его письма И. С. Тургеневу от 11 мая 1858 г.: «Скажите Александру Ивановичу, что — сколько ни противны моей душе его цинические отношения к вере и бессмертию души, но что я перед ним как пред гражданином благоговею, что у меня образовалась к нему какая-то страстная привязанность. Какая благородная, святая книга „14 декабря“!.. Как тут все, право, честно, достойно взято в меру». (Там же, с. 236а).

«Это начало на почве славянства, и преимущественно великорусского славянства, с широтою его нравственного захвата, должно обновить мир — вот что стало для меня уже не смутным, а простым верованием [перед которым верования официальной церкви иже о Христе жандармствующих стали мне положительно скверны...]». «Православные начала» не мыслимы для Григорьева вне русского народа. Он в общем равнодушен к вопросам догматики православной церкви. Признавая диалектическую тонкость богословских статей Хомякова,⁸⁰ Григорьев тем не менее с иронией называет его «великим софистом», не придавая, в отличие от «ортодоксальных» славянофилов, спорам о церковной догматике большого значения.

Пребывание Григорьева за границей окончилось довольно неожиданно и печально. Не выдержав «постнической» жизни и становившейся все более невыносимой тоски, он записал, в короткое время «промотал» вроде бы, наконец, появившиеся деньги, и ему не оставалось ничего другого, как вернуться в Россию, по которой Григорьев к тому же сильно истосковался за два года. «Никогда не был я так похож на тургеневского Рудина (в эпизоде), как тут», — писал Григорьев о своем возвращении в Россию М. П. Погодину в письме от [26 августа—7 октября] 1859 г. «Разбитый, без средств, без цели, без завтра. Одно только, что в душе у меня была глубокая вера в промысел, в то, что есть еще много впереди. А чего... Этого я и сам не знал. По-настоящему ничего не было. На родину-мать я являлся бесполезным человеком, с развитым чувством изящного, с оригинальным, но несколько капризно-оригинальным взглядом на искусство, с общественными идеалами прежними, т. е. хоть и более выясненными, но разновременными и во всяком случае несвоевременными, с глубоким православным чувством и с страшным скептицизмом в нравственных понятиях, с распушенностью и с неутолимою жаждою жизни!...».⁸¹ Личные неудачи, постоянно преследовавшие Григорьева, придавали его теоретическим исканиям судорожный, мрачный характер. В его настроениях отчаянье, «хандра» постоянно чередовались с ненадолго, но ярко вспыхивавшей вновь и вновь верой в победу православно-русских

⁸⁰ Там же, с. 247. — Григорьев сочувственно пишет в том же письме М. П. Погодину об изданном за границей богословском трактате Хомякова «Derniers mots d'un chretien Orthodoxe», «идея Христа и понимание Библии, раздвигающейся, расширяющейся с расширением сознания общины, соборно, в противоположность омертвлению идеи Христа, и остановке понимания Библии в католичестве и в противоположность раздроблению Христа на личности и произвольно личному толкованию Библии в протестантизме, таков широкий смысл малой по объему и великой по содержанию брошюрки, если освободить этот смысл из-под спуда византийских хитросплетений». (Там же, с. 247). В такой оценке наряду с признанием основных идей Хомякова явственно чувствуется критическое отношение к спекулятивности избранного Хомяковым способа их аргументации.

⁸¹ Там же, с. 255.

начал. С течением времени колебания Григорьева между «верой» и «неверием» приобретали безвыходный характер. Он по-прежнему утверждает в своих письмах: «Я верю в возможность победы нашего направления, верю глубоко и вере этой отдавал и готов отдать все, что только могу отдать»,⁸² и в то же время сущность своего собственного «направления» так и остается для Григорьева «неуясненной».

Григорьев не переставал сетовать на идейное одиночество, но что он мог водрузить на знамя своего «неуясненного направления», кроме поклонения и безропотной покорности «стихиям народной жизни»? Кто мог пойти в годы общественного подъема конца 50-х—начала 60-х годов за таким лозунгом, обрекавшим человека на бездействие, на трагическую роль песчинки в водовороте «стихий истории»? Даже идея «самоценности» личности, ярко отразившаяся в произведениях и письмах Григорьева середины 50-х годов, постепенно вытесняется к началу 60-х годов сознанием безраздельного «торжества стихии» и тщетности борьбы с ней «эгоизма» личных стремлений. Григорьев к этому времени, теряя последние надежды на личное счастье, окончательно смиряется перед роковой властью стихии. «Верования» Григорьева приобретают все более мрачный характер, собственная деятельность кажется бесперспективной. В письме к Н. Н. Страхову от 18 июля 1861 г. Григорьев пишет: «В том, что это допотопное бытие возродится (Григорьев имеет в виду возрождение «начал» древнерусской жизни. — С. Н.) в новых стройных формах, я убежден крепко, да ведь утешения в этом мне мало».⁸³ В том, что собственная жизнь потеряна безвозвратно, Григорьев уже и не пытается сомневаться, личные мечтания и невзгоды кажутся ему предрешенными заранее беспощадной судьбой. В Григорьеве укрепляется убеждение, что страдание — вечный спутник человеческой жизни и особенно «жизни духа», нравственных переживаний. В письме Н. Н. Страхову от 23 сентября 1861 г. Григорьев с горечью пишет: «Сумасшедший ты человек! Жалуешься на то, что не жил? А имеешь ли ты конкретное понятие о тех мрачных Эрриниях, которых жизнь насылает на своих конкретных любителей?.. О, да хранит тебя бог от жизни... Да, я все видел над собою, и от этого виденного у меня в одну ночь выросли в бороде и на висках седые волосы».⁸⁴

Дилеммы, вставшие перед Григорьевым в начале творческого пути, остались нерешенными и в конце жизни. За три года до смерти, в 1861 г., особенно «интенсивном» в смысле дошедшей до нас переписки Григорьева (критик жил тогда в Оренбурге, где преподавал словесность в местном кадетском корпусе), он

⁸² Письмо к М. П. Погодину, первая половина ноября 1860 г. — Там же, с. 261.

⁸³ Там же, с. 270.

⁸⁴ Там же, с. 279—280.

с полным основанием писал Н. Н. Страхову: «Славянофильство так же не признавало и не признает меня своим, да я и не хотел никогда этого признания». И далее совсем по-славянофильски утверждал: «Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов, — и вопросов (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о, ужас!) о политической свободе. Это — вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности».⁸⁵

Круг мысли Григорьева трагически замкнут: отталкиваясь от славянофильских идей «народности», «умственной самостоятельности» России, он в конце концов к этим же идеям и возвращается. В центре его напряженных идейных исканий лежала цель, сформулированная вполне в духе славянофильского учения: отыскать исторический смысл «истинно русских» начал общежития, идею об особом социально-нравственном значении которых Григорьев принимал, так сказать, «на веру», априорно.

Григорьев часто был более радикален, более демократичен, чем славянофилы, в подходе ко многим проблемам, встававшим перед Россией в 50—60-х годах, но вопросы, которым он придавал наибольшее значение, — Россия и Запад, личность и общество, учение и подражание — неизменно решались Григорьевым в той же плоскости, в какой они несколько ранее, на рубеже 50-х годов, были поставлены «ортодоксальным» славянофильством.

«Проклятым вопросам» бытия в той форме, как они были подняты славянофилами, не суждено было разрешиться в стройном и ясном «веровании», о котором мечтал Григорьев. Впрочем, это лишь укрепляло его в вере в «народную стихию», в ее безграничную, почти фантастическую власть над историей и человеческими судьбами. Собственная судьба Григорьева в конце концов заставила его признать, что страдания и сомнения «одиноким личностью», ее попытки сопротивляться голосу времени, истории, народа тщетны, трагически безысходны.

Об Аполлоне Григорьеве, о его жизни и идейных исканиях можно сказать так же, как Е. Соловьев-Андреевич некогда сказал о Герцене: его драма — «драма столкновения страстной мечты с суровой и безличной историей».⁸⁶

Действительность капиталистической России, «деловая» идеология и мораль «нового мира» неумолимо вытесняли славянофильские идеи в область бесплодной мечты, в сферу практически не существующего. Ход истории плохо согласовывался со славянофильскими чаяниями, и Аполлон Григорьев был, пожалуй, первым русским мыслителем, в полной мере испытавшим это на своей судьбе, которую можно, подобно одному из незавершенных

⁸⁵ Письмо от 18 июня 1861 г. — Там же, с. 269.

⁸⁶ Соловьев-Андреевич Е. Очерки по истории русской литературы XIX века, с. 172.

циклов его стихотворений и поэм, без тени иронии назвать «Одиссеей о последнем романтике».

До болезненности обостренное восприятие Григорьевым противоречий своей эпохи, лишь смутно ощущаемое в его критических статьях и яркими вспышками пробивающееся в его поэзию, в личной переписке Григорьева предстает в обнаженном виде, не прикрито ни звучными славянофильскими лозунгами, ни сентиментально-романтической героизацией собственной судьбы. Обращаясь к эпистолярному наследию Аполлона Григорьева, исследователь сталкивается с самыми затаенными уголками теоретической мысли критика, имеет возможность пристально изучить «подноготную» его мысли, а тем самым в какой-то степени и «подноготную» многих коренных идей славянофильства. И в этом, как нам представляется, главное значение эпистолярного наследия Григорьева как источника по истории славянофильства, — значение, определяемое прежде всего бесстрашной откровенностью автора в оценке своих идей и взглядов.

Л. Е. ШЕПЕЛЕВ

РЕГЕСТЫ И ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ XIX—НАЧАЛА XX в.¹

Успехи развития исторической науки всегда связывались с изданием исторических источников. Видный советский историк, источниковед и археограф С. Н. Валк считал, что издание документов есть необходимое условие их научного использования. В предисловии к своей книге «Советская археография» он писал: «Известно, что изучать историю можно лишь на основе исторических источников. А сделать доступными широкому кругу историков эти источники можно лишь в том случае, если они будут изданы».² С. Н. Валк при этом не выделял источники каких-либо исторических периодов, а имел в виду источники всех эпох. Однако и справедливость процитированного суждения, и возможности реализации содержащегося в нем условия различны не только для источников разных эпох (а следовательно, и с разными особенностями), но и для публикационной деятельности в разное время (и в разных обстоятельствах).³ К публикацион-

¹ Мы имеем в виду документы, образовавшиеся в деятельности по преимуществу государственных учреждений дореволюционной России с начала XIX в. Это период становления и господства капиталистической формации, а также период существования министерской системы государственных учреждений и присущей ей системы делопроизводства.

² Валк С. Н. Советская археография. М.—Л., 1948, с. 3.

³ В советской археографической литературе в одном и том же значении употребляются два термина: публикация документов и издание до-